



## Борис ПАСТЕРНАК

### Охранная грамота

Часть третья

#### 1

Цепь бульваров прорезала зимами Москву за двойным пологом почернелых деревьев. В домах желтели огни, как звездчатые кружки перерезанных посередке лимонов. На деревья низко свешивалось небо, и все белое кругом было сине.

По бульварам, нагибаясь, как для боданья, пробегали бедно одетые молодые люди. С некоторыми я был знаком, большинства не знал, все же вместе были моими ровесниками, т. е. неисчислимыми лицами моего детства.

Их только что стали звать по отчеству, наделили правами и ввели в секрет слов: овладеть, извлечь пользу, присвоить. Они обнаруживали поспешность, достойную более внимательного разбора.

На свете есть смерть и предвиденье. Нам мила неизвестность, наперед известное страшно, и всякая страсть есть слепой отскок в сторону от накатывающей неотвратимости. Живым видам нигде было бы существовать и повторяться, если бы страсти некуда было прыгать с той общей дороги, по которой катится общее время, каковое есть время постепенного разрушенья вселенной.

Но жизни есть где жить и страсти есть куда прыгать, потому что наряду с общим временем существует непрекращающаяся бесконечность придорожных порядков, бессмертных в воспроизведении, и одним из них является всякое новое поколение.

Нагибаясь на бегу, спешили сквозь вьюгу молодые люди, и хотя у каждого были свои причины торопиться, однако больше всех личных побуждений подхлестывало их нечто общее, и это была их историческая цельность, то есть отдача той страсти, с какой только что вбежало в них, спасаясь с общей дороги, в неслучный раз избежавшее конца человечество.

А чтобы заслонить от них двойственность бега сквозь неизбежность, чтобы они не сошли с ума, не бросили начатого и не перевешались всем земным шаром, за деревьями по всем бульварам караулила сила, страшно бывалая и искушенная, и провожала их своими умными глазами. За деревьями стояло искусство, столь прекрасно разбирающееся в нас, что всегда недоумеваешь, из каких неисторических миров принесло оно свою способность видеть историю в силуэте. Оно стояло за деревьями, страшно похожее на жизнь, и терпелось в ней за это сходство, как терпят портреты жен и матерей в лабораториях ученых, посвященных естественной науке, то есть постепенной разгадке смерти.

Какое же это было искусство? Это было молодое искусство Скрябина, Блока, Комиссаржевской, Белого, — передовое, захватывающее, оригинальное. И оно было так поразительно, что не только не вызывало мыслей о замене, но, напротив, его для вящей прочности хотелось повторить с самого основания, но только еще шибче, горячее и цельнее. Его хотелось пересказать залпом, что было без страсти немислимо, страсть же отскакивала в сторону, и таким путем получалось новое. Однако новое возникало не в отмену старому, как обычно принято думать, но совершенно напротив, в восхищенном воспроизведении образца. Таково было искусство. Каково же было поколение?

Мальчикам близкого мне возраста было по тринадцати лет в девятьсот пятом году и шел двадцать второй год перед войною. Обе их критические поры совпали с двумя красными числами родной истории. Их детская возмужалость и их призывное совершеннолетие сразу пошли на скрепы переходной эпохи. Наше время по всей толще прошито их нервами и любезно предоставлено ими в пользование старикам и детям.

Однако для полноты их характеристики надо вспомнить государственный порядок, которым они дышали.

Никто не знал, что это правит Карл Стюарт или Людовик XVI. Почему монархами по преимуществу кажутся последние монархи? Есть, очевидно, что-то трагическое в самом существе наследственной власти.

Политический самодержец занимается политикой лишь в тех редких случаях, когда он Петр. Такие примеры исключительны и запоминаются на тысячелетья. Чаще природа ограничивает властителя тем полнее, что она не парламент, и ее ограничения абсолютны. В виде правила, освященного веками, наследственным монархом зовется лицо, обязанное церемониально изживать одну из глав династической биографии — и только. Здесь

имеется пережиток жертвенности, подчеркнутой в этой роли оголеннее, чем в пчелином улье.

Что же делается с людьми этого страшного призвания, если они не Цезари, если опыт не перекипает у них политикой, если у них нет гениальности — единственного, что освобождает от судьбы пожизненной в пользу посмертной?

Тогда не скользят, а поскользываются, не ныряют, а тонут, не живут, а вживаются в щекотливости, низводящие жизнь до орнаментального прозябанья. Сначала в часовые, потом в минутные, сначала в истинные, потом в вымышленные, сначала без посторонней помощи, потом с помощью столоверчения.

При виде котла пугаются его клокотанья. Министры уверяют, что это в порядке вещей и чем совершеннее котлы, тем страшнее. Излагается техника государственных преобразований, заключающаяся в переводе тепловой энергии в двигательную и гласящая, что государства только тогда и процветают, когда грозят взрывом и не взрываются. Тогда, зажмурясь от страха, берутся за ручку свистка и со всей прирожденной мягкостью устраивают Ходынку, кишиневский погром и Девятое января и сконфуженно отходят в сторону, к семье и временно прерванному дневнику.

Министры хватаются за голову. Окончательно выясняется, что территориальными далями правят недалекие люди. Объяснения пропадают даром, советы не достигают цели. Широта отвлеченной истины ни разу не пережита ими. Это рабы ближайших очевидностей, заключающие от подобного к подобному. Переучивать их поздно, развязка приближается. Подчиняясь увольнительному рескрипту, их оставляют на ее произвол.

Они видят ее приближенье. От ее угроз и требований бросаются к тому, что есть самого тревожного и требовательного в доме. Генриэтты, Марии-Антуанетты и Александры получают все больший голос в страшном хоре. Отдаляют от себя передовую аристократию, точно площадь интересуется жизнью дворца и требует ухудшенья его комфорта. Обращаются к версальским садовникам, к ефрейторам Царского Села и самоучкам из народа, и тогда всплывают и быстро поднимаются Распутины, никогда не опознаваемые капитуляции монархии перед фольклорно понятным народом, ее уступки веяньям времени, чудовищно противоположные всему тому, что требуется от истинных уступок, потому что это уступки только во вред себе, без малейшей пользы для другого, и обыкновенно как раз эта несурзанность, оголяя обреченную природу страшного призвания, решает его судьбу и сама чертами своей слабости подает раздражающий знак к восстанью.

Когда я возвращался из-за границы, было столетие Отечественной войны. Дорогу из Брестской переименовали в Александровскую. Станции побелили, сторожей при колоколах одели в чистые рубахи. Станционное здание в Кубинке было утыкано флагами, у дверей стоял усиленный караул. Поблизости происходил высочайший смотр, и по этому случаю платформа горела ярким развалом рыхлого и не везде еще притоптанного песка.

Воспоминаний о празднуемых событиях это в едущих не вызывало. Юбилейное убранство дышало главной особенностью царствования — равнодушьем к родной истории. И если торжества на чем и отражались, то не на ходе мыслей, а на ходе поезда, потому что его дольше положенного задерживали на станциях и чаще обычного останавливали в поле семафором.

Я невольно вспоминал скончавшегося зимой перед тем Серова, его рассказы поры писанья царской семьи, карикатуры, делавшиеся художниками на рисовальных вечерах у Юсуповых, курьезы, сопровождавшие кутеповское издание «Царской охоты», и множество подходящих к случаю мелочей, связанных с Училищем живописи, которое состояло в ведении министерства имп. двора и в котором мы прожили около двадцати лет. Я также мог бы вспомнить девятьсот пятый год, драму в семье Касаткина и мою грошовую революционность, дальше бравированья перед казацкой нагайкой и удара ею по спинке ватной шинели не пошедшую. Наконец, что касается сторожей, станций и флагов, то и они, разумеется, предвещали серьезнейшую драму, а вовсе не были тем невинным водевилем, который видел в них мой легкомысленный аполитизм.

Поколение было аполитичным, мог бы сказать я, если бы не сознавал, что ничтожной его части, с которой я соприкасался, недостаточно даже для суждения обо всей интеллигенции. Такой стороной было оно повернуто ко мне, скажу я, но тою же стороной обращалось оно и ко времени, выступая со своими первыми заявлениями о своей науке, своей философии и своем искусстве.

## 2

Однако культура в объяття первого желающего не падает. Все перечисленное надо было взять с бою. Пониманье любви как поединка подходит и к этому случаю. Переход искусства к подростку мог осуществиться лишь в результате воинствующего влечения, пережитого со всем волнением, как личное происшествие. Литература начинающих пестрила признаками этого со-

стоянья. Новички объединялись в группы. Группы разделялись на эпигонские и новаторские. Это были немислимые в отдельности части того порыва, который был загадан с такой настойчивостью, что уже насыщал все кругом атмосферой совершающегося, а не только еще ожидаемого романа. Эпигоны представляли влечение без огня и дара. Новаторы — ничем, кроме выхолощенной ненависти, не движимую воинственность. Это были слова и движенья крупного разговора, подслушанные обезьяной и разнесенные куда придется по частям, в разрозненной дословности, без догадки о смысле, одушевлявшем эту бурю.

Между тем в воздухе уже висела судьба гадательного избранника. Почти можно было сказать, кем он будет, но нельзя было еще сказать, кто будет им. По внешности десятки молодых людей были одинаково беспокойны, одинаково думали, одинаково притязали на оригинальность. Как движенье новаторство отличалось видимым единодушьем. Но, как в движеньях всех времен, это было единодушие лотерейных билетов, роем взвихренных розыгрышной мешалкой. Судьбой движенья было остаться навеки движеньем, то есть любопытным случаем механического перемещенья шансов, с того часа, как какая-нибудь из бумажек, выйдя из лотерейного колеса, вспыхнула бы у выхода пожаром выигрыша, победы, лица и именного значенья. Движенье называлось футуризмом.

Победителем и оправданьем тиража был Маяковский.

### 3

Наше знакомство произошло в принужденной обстановке групповой предвзятости. Задолго перед тем Ю. Анисимов показал мне его стихи в «Садке судей», как поэт показывает поэта. Но это было в эпигонском кружке «Лирика», эпигоны своих симпатий не стыдились, и в эпигонском кружке Маяковский был открыт как явление многообещающей близости, как громада.

Зато в новаторской группе «Центрифуга», в состав которой я вскоре попал, я узнал (это было в 1914 году, весной), что Шершеневич, Большаков и Маяковский наши враги и с ними предстоит нешуточное объяснение. Перспектива ссоры с человеком, уже однажды поразившим меня и привлекавшим издали все более и более, нисколько меня не удивила. В этом и состояла вся оригинальность новаторства. Нарождение «Центрифуги» сопровождалось всю зиму нескончаемыми скандалами. Всю зиму я только и знал, что играл в групповую дисциплину, только и де-

дал, что жертвовал ей вкусом и совестью. Я приготовился снова предать что угодно, когда придется. Но на этот раз я переоценил свои силы.

Был жаркий день конца мая, и мы уже сидели в кондитерской на Арбате, когда с улицы шумно и молодо вошли трое названных, сдали шляпы швейцару и, не умеряя звучности разговора, только что заглушавшегося трамваями и ломовиками, с непринужденным достоинством направились к нам. У них были красивые голоса. Позднейшая декламационная линия поэзии пошла отсюда. Они были одеты элегантно, мы — неряшливо. Позиция противника была во всех отношениях превосходной.

Пока Бобров препирался с Шершеневичем, — а суть дела заключалась в том, что они нас однажды задели, мы ответили еще грубее, и всему этому надо было положить конец, — я не отрываясь наблюдал Маяковского. Кажется, так близко я тогда его видел впервые.

Его «э» оборотное вместо «а», куском листового железа колыхавшее его дикцию, было чертой актерской. Его намеренную резкость легко было вообразить отличительным признаком других профессий и положений. В своей разительности он был не одинок. Рядом сидели его товарищи. Из них один, как он, разыгрывал денди, другой, подобно ему, был подлинным поэтом. Но все эти сходства не умаляли исключительности Маяковского, а ее подчеркивали. В отличие от игры в отдельное он разом играл во все, в противность разыгрыванью ролей, — играл жизнью. Последнее, без какой бы то ни было мысли о его будущем конце, — улавливалось с первого взгляда. Это-то и приковывало к нему, и пугало.

Хотя всех людей на ходу и когда они стоят видно во весь рост, но то же обстоятельство при появлении Маяковского показалось чудесным, заставив всех повернуться в его сторону. Естественное казалось в его случае сверхъестественным. Причиной был не его рост, а другая, более общая и менее уловимая особенность. Он в большей степени, чем остальные люди, был весь в явлении. Выраженного и окончательного в нем было так же много, как мало этого у большинства, редко когда и лишь в случаях особых потрясений выходящего из мглы невыбродивших намерений и несостоявшихся предположений. Он существовал точно на другой день после огромной душевной жизни, крупно прожитой впрок на все случаи, и все заставляли его уже в снопе ее бесповоротных последствий. Он садился на стул, как на седло мотоцикла, подавался вперед, резал и быстро глотал венский шницель, играл в карты, скашивая глаза и не поворачивая головы, вели-

чественно прогуливался по Кузнецкому, глуховато потягивал в нос, как отрывки литургии, особо глубокомысленные клочки своего и чужого, хмурился, рос, ездил и выступал, и в глубине за всем этим, как за прямою разбежавшегося конькобежца, вечно мерещился какой-то предшествующий всем дням его день, когда был взят этот изумительный разгон, распрямлявший его так крупно и непринужденно. За его манерою держаться чудилось нечто подобное решенью, когда оно приведено в исполнение и следствия его уже не подлежат отмене. Таким решением была его гениальность, встреча с которой когда-то так его потрясла, что стала ему на все времена тематическим предписанием, воплощенью которого он отдал всего себя без жалости и колебанья.

Но он был еще молод, формы, предстоявшие этой теме, были впереди. Тема же была ненасытима и отлагательств не терпела. Поэтому первое время ей в угоду приходилось предвосхищать свое будущее, предвосхищенье же, осуществляемое в первом лице, есть поза.

Из этих поз, естественных в мире высшего самовыраженья, как правила приличья в быту, он выбрал позу внешней цельности, для художника труднейшую и в отношении друзей и близких благороднейшую. Эту позу он выдерживал с таким совершенством, что теперь почти нет возможности дать характеристику ее подоплеки.

А между тем пружиной его беззастенчивости была дикая застенчивость, а под его притворной волей крылось феноменально мнительное и склонное к беспричинной угрюмости безволие. Таким же обманчивым был и механизм его желтой кофты. Он боролся с ее помощью вовсе не с мещанскими пиджаками, а с тем черным бархатом таланта в самом себе, приторно-чернобровые формы которого стали возмущать его раньше, чем это бывает с людьми менее одаренными. Потому что никто, как он, не знал всей пошлости самородного огня, не разъяряемого исподволь холодною водой, и того, что страсти, достаточной для продолженья рода, для творчества недостаточно и что оно нуждается в страсти, требующейся для продолженья *образа* рода, то есть в такой страсти, которая внутренне подобна страстям и новизна которой внутренне подобна новому обетованью.

Вдруг переговоры кончились. Враги, которых мы должны были уничтожить, ушли непопранными. Скорее условия выработанной мировой были унижительны для нас.

Между тем на улице потемнело. Стало накрапывать. В отсутствие врагов кондитерская томительно опустела. Обозначились

мухи, недоеденные пирожные, ослепленные горячим молоком стаканы. Но гроза не состоялась. В панель, скрученную мелким лиловым горошком, сладко ударило солнце. Это был май четырнадцатого года. Превратности истории были так близко. Но кто о них думал? Аляповатый город горел финифтью и фольгой, как в «Золотом петушке». Блестела лаковая зелень тополей. Краски были в последний раз той ядовитой травянистости, с которой они вскоре навсегда расстались. Я был без ума от Маяковского и уже скучал по нем. Надо ли прибавлять, что я предал совсем не тех, кого хотел.

## 4

Случай столкнул нас на следующий день под тентом греческой кофейни. Большой желтый бульвар лежал пластом, растянувшись между Пушкиным и Никитской. Зевали, дотягиваясь и укладывая морды поудобней на передние лапы, худые длинноязыкие собаки. Няни, кума с кумой, все о чем-то судачили и о чем-то сокрушались. Бабочки мгновеньями складывались, растворяясь в жаре, и вдруг расправлялись, увлекаемые вбок неправильными волнами зноя. Девочка в белом, вероятно совершенно мокрая, держалась в воздухе, всю себя за пятки схлестывая свистящими кругами веревочной скакалки.

Я увидел Маяковского издали и показал его Локсу. Он играл с Ходасевичем в орел и решку. В это время Ходасевич встал и, заплатив проигрыш, ушел из-под навеса по направлению к Страстному. Маяковский остался один за столиком. Мы вошли, поздоровались с ним и разговорились. Немного спустя он предложил кое-что прочесть.

Зеленели тополя. Суховато серели липы. Выведенные блохами из терпенья, сонные собаки вскакивали на все лапы сразу и, призвав небо в свидетели своего морального бессилья против грубой силы, валились на песок в состоянии негодующей сонливости. Давали горловые свистки паровозы на Брестской дороге, переименованной в Александровскую, и кругом стригли, брили, пекли и жарили, торговали, передвигались — и ничего не ведали.

Это была трагедия «Владимир Маяковский», тогда только что вышедшая. Я слушал, не помня себя, всем перехваченным сердцем, затаив дыхание. Ничего подобного я раньше никогда не слышал.

Здесь было все. Бульвар, собаки, тополя и бабочки. Парикмахеры, булочники, портные и паровозы. Зачем цитировать?

Все мы помним этот душный таинственный летний текст, теперь доступный каждому в десятом издании.

Вдали белугой ревели локомотивы. В горловом краю его творчества была та же безусловная даль, что на земле. Тут была та бездонная одухотворенность, без которой не бывает оригинальности, та бесконечность, открывающаяся с любой точки жизни, в любом направлении, без которой поэзия — одно недоуменье, временно не разъясненное.

И как просто было это все. Искусство называлось трагедией. Так и следует ему называться. Трагедия называлась «Владимир Маяковский». Заглавье скрывало гениально простое открытие, что поэт не автор, но — предмет лирики, от первого лица обращающейся к миру. Заглавье было не именем сочинителя, а фамилией содержания.

## 5

Собственно, тогда с бульвара я и унес его всего с собою в свою жизнь. Но он был огромен, удержать его в разлуке не представляло возможности. И я его утрачивал. Тогда он напоминал мне о себе. «Облаком в штанах», «Флейтой-позвоночником», «Войной и миром», «Человеком». То, что выветривалось в промежутках, было так громадно, что и напоминанья требовались экстраординарные. Такими они и бывали. Каждый из перечисленных этапов заставлял меня неподготовленным. На каждом, выросши до неузнаваемости, он весь рождался вновь, как в первый раз. К нему нельзя было привыкнуть. Что же в нем было столь непривычного?

Он обладал сравнительно постоянными качествами. Относительно устойчива была и моя восторженность. Она всегда для него была готова. Казалось бы, при таких условиях и привыкание мое не должно было бы делать скачков. Между тем вот как обстояло дело.

Пока он существовал творчески, я четыре года привыкал к нему и не мог привыкнуть. Потом привык в два часа с четвертью, что длилось чтение и разбор нетворческих «150 000 000-нов». Потом больше десяти лет протомился с этой привычкой. Потом вдруг разом ее в слезах утратил, когда он *во весь голос* о себе напомнил, как бывало, но уже из-за могилы.

Привыкнуть нельзя было не к нему, а к миру, который он держал в своих руках и то пускал в ход, то приводил в бездействие по своему капризу. Я никогда не пойму, какой ему был

прок в размагничиваньи магнита, когда в сохранении всей внешности ни песчинки не двигала подкова, вздыбливавшая перед тем любое воображение и притягивавшая какие угодно тяжести ножками строк. Едва ли найдется в истории другой пример того, чтобы человек, так далеко ушедший в новом опыте, в час, им самим предсказанный, когда этот опыт, пусть и ценой неудобств, стал бы так насущно нужен, так полно бы от него отказался. Его место в революции, внешне столь логичное, внутренне столь принужденное и пустое, навсегда останется для меня загадкой.

Привыкнуть нельзя было к Владимиру Маяковскому трагедии, к *фамилии содержания*, к поэту, извечно содержащемуся в поэзии, к возможности, осуществляемой наиболее сильными, а не к так называемому «интересному человеку».

С зарядом этой непривычности я и пошел домой с бульвара. Я снимал комнату с окном на Кремль. Из-за реки мог во всякое время явиться Николай Асеев. Он пришел бы от сестер С., семьи глубоко и разнообразно одаренной. Я узнал бы в вошедшем: воображение, яркое в беспорядочности, способность претворять неосновательность в музыку, чувствительность и лукавство подлинной артистической природы. Я его любил. Он увлекался Хлебниковым. Не пойму, что он находил во мне. От искусства, как и от жизни, мы добивались разного.

## 6

Зеленели тополя и ящерицами бегали по речной воде отражения золота и белого камня, когда я Кремлем к Покровке проехал на вокзал и оттуда с Балтрушайтисами на Оку, в Тульскую губернию. Там под боком жил Вячеслав Иванов. Остальные дачники были также из артистического мира.

Еще цвела сирень. Выбежав далеко на дорогу, она только что без музыки и хлеба-соли устраивала живую встречу на широком въезде в имение. За ней долго еще спускался к домам пустой, избитый скотом и поросший неровною травой двор.

Лето обещало быть жарким, богатым. Для тогда возникавшего Камерного театра я переводил комедию Клейста «Разбитый кувшин». В парке было много змей. Речь о них заходила ежедневно. О змеях говорили за ухой и на купанье. Когда же мне предлагали рассказать что-нибудь о себе, я заговаривал о Маяковском. В этом не было ошибки. Я его боготворил. Я олицетворял нем свой духовный горизонт. С гиперболизмом Гюго первым на моей памяти стал сравнивать его тогда Вячеслав Иванов.

Когда объявили войну, заненастилось, пошли дожди, полились первые бабьи слезы. Война была еще нова и в тряс страшна этой новостью. С ней не знали, как быть, и в нее вступали как в студеную воду.

Пассажирские поезда, в которых уезжали местные из волости на сбор, отходили по старому расписанью. Поезд трогался, и ему вдогонку, колотясь головой о рельсы, раскатывалась волна непохожего на плач, неестественно нежного и горького, как рябина, кукованья. Пожилую, не по-летнему укутанную женщину подхватывали на руки. Родня снаряженного с односложными уговорами отводила ее под станционные своды.

Это только в первые месяцы державшееся причитанье было шире горя молодух и матерей, в нем изливавшегося. Оно чрезвычайным порядком вводилось по линии. Начальники станций брали при его следованьи под козырек, телеграфные столбы уступали ему дорогу. Оно преображало край, видное отовсюду в оловянном окладе ненастья, потому что это была отвычная вещь жгучей яркости, которую не трогали с прошлых войн, извлекли из-под спуда истекшей ночью, утром привезли на лошади к поезду и, как выведут за руки из-под станционных сводов, повезут назад домой горькой грязью проселка. Так провожали своих, вольными одиночками или с земляками уезжавших в город в зеленых вагонах.

Солдат же, готовыми маршевыми частями проходивших прямо туда, в самый страх, встречали и провожали без голошенья. Во всем в обтяжку, они не по-мужицки прыгали из высоких теплушек в песок, звеня шпорами и волоча по воздуху криво накинутые шинели. Другие стояли в вагонах у перекладин, похлопывая лошадей, надменными ударами копыт ковырявших грязную древесину местами подгнившего пола. Платформа яблок даром не отдавала, за ответом в карман не лезла и, пунцово вспыхивая, усмехалась в углы плотно сколотых платков.

Кончался сентябрь. Грязью залитого пожара горел в лощинах мусорно-золотой орешник, погнутый и обломанный ветрами и лазальщиками по орехи, сумбурный образ разоренья, свернутого со всех суставов упрямым сопротивленьем беде.

Как-то в августе в полдень ножи и тарелки на террасе позеленели, на цветник пали сумерки, притихли птицы. Небо, как шапку-невидимку, стало сдирать с себя светлую сетчатую ночь, обманно на него наброшенную. Вымерший парк зловеще закопсился ввысь, на унижительную загадку, превращавшую во что-

то заштатное землю, громкую славу которой он так горделиво пил всеми корнями. На дорожку выкатился еж. На ней египетским иероглифом, как сложенная узлом веревка, валялась дохлая гадюка. Он шевельнул ее и вдруг бросил и замер. И снова сломал и осыпал сухую охапку игл и высунул и спрятал свиную морду. Все время, что длилось затмение, то сапожком, то шишкой собирался клубок колючей подозрительности, пока предвестье возрождающейся несомненности не погнало его назад в нору.

## 8

Зимой на Тверском бульваре поселилась одна из сестер С-х — З. М. М-ва. Ее посещали. К ней заходил замечательный музыкант (я дружил с ним) И. Добровейн. У ней бывал Маяковский. К той поре я уже привык видеть в нем первого поэта поколения. Время показало, что я не ошибся.

Был, правда, Хлебников с его тонкой подлинностью. Но часть его заслуг и донныне для меня недоступна, потому что поэзия моего пониманья все же протекает в истории и в сотрудничестве с действительной жизнью. Был также Северянин, лирик, изливавшийся непосредственно строфически, готовыми, как у Лермонтова, формами и при всей неряшливой пошлости поражающий именно этим редким устройством своего открытого, разомкнутого дара.

Однако вершиной поэтической участи был Маяковский, и позднее это подтвердилось. Всякий раз, как потом поколение выражало себя драматически, отдавая свой голос поэту, будь то Есенин, Сельвинский или Цветаева, именно в их генерационной связанности, то есть в их обращении от времени к миру, слышался отзвук кровной ноты Маяковского. Я умалчиваю о таких мастерах, как Тихонов и Асеев, потому что ограничиваюсь и в дальнейшем этой драматической линией, более близкой мне, а они выбрали для себя другую.

Маяковский редко являлся один. Обыкновенно его свиту составляли футуристы, люди движенья. В хозяйстве М-вой я увидел тогда первый в моей жизни примус. Изобретенье не издавало еще вони, и кому думалось, что оно так изгадит жизнь и найдет себе в ней такое широкое распространенье.

Чистый ревущий кузов разбрасывал высоконапорное пламя. На нем одну за другой поджаривали отбивные котлеты. Локти хозяйки и ее помощниц покрывались шоколадным кавказским

загаром. Холодная кухонька превращалась в поселенье на Огненной Земле, когда, наведываясь из столовой к дамам, мы технически дикими патагонцами склонялись над медным блином, воплощавшим в себе что-то светлое, архимедовское. И — бегали за пивом и водкой. В гостиной, в тайной стачке с деревьями бульвара, протягивала лапы к роялю высокая елка. Она была еще торжественно мрачна. Весь диван, как сладостями, был завален блестящей канителью, частью еще в картонных коробках. К ее украшенью приглашали особо, с утра по возможности, то есть часа в три пополудни.

Маяковский читал, смешил все общество, торопливо ужинал, не терпя, когда сядут за карты. Он был язвительно любезен и с большим искусством прятал свое постоянное возбуждение. С ним что-то творилось, в нем совершался какой-то перелом. Ему уяснилось его назначенье. Он открыто позировал, но с такою скрытой тревогой и лихорадкой, что на его позе стояли капли холодного пота.

## 9

Но не всегда он приходил в сопутствии новаторов. Часто его сопровождал поэт, с честью выходявший из испытанья, каким обыкновенно являлось соседство Маяковского. Из множества людей, которых я видел рядом с ним, Большаков был единственным, кого я совмещал с ним без всякой натяжки. Обоих можно было слушать в любой последовательности, не насилуя слуха. Как впоследствии его еще более крепкое единенье с другом на всю жизнь, Л. Ю. Брик, эту дружбу легко было понять, она была естественна. В обществе Большакова за Маяковского не болело сердце, он был в соответствии с собой и не ронял себя.

Обычно же его симпатии вызывали недоуменье. Поэт с захватывающе крупным самосознанием, дальше всех зашедший в обращении лирической стихии и со средневековой смелостью сближивший ее с темою, в безмерной росписи которой поэзия заговорила языком почти сектантских отождествлений, он так же широко и крупно подхватил другую традицию, более местную.

Он видел под собою город, постепенно к нему поднымавшийся со дна «Медного Всадника», «Преступления и наказания» и «Петербурга», город в дымке, которую с ненужной расплывчатостью звали проблемою русской интеллигенции, по существу же город в дымке вечных гаданий о будущем, русский необеспеченный город девятнадцатого и двадцатого столетья.

Он обнимал такие виды и наряду с этими огромными созерцаниями почти как долгу верен был всем карликовым затеям своей случайной, наспех набранной и всегда до неприличья посредственной клики. Человек почти животной тяги к правде, он окружал себя мелкими привередниками, людьми фиктивных репутаций и ложных, неоправданных притязаний. Или, чтобы назвать главное. Он до конца все что-то находил в ветеранах движенья, им самим давно и навсегда упраздненного. Вероятно, это были следствия рокового одиночества, раз установленного и затем добровольно усугубленного с тем педантизмом, с которым воля идет иногда в направлении осознанной неизбежности.

## 10

Однако все это сказалось позднее. Признаки будущих странностей тогда еще были слабы. Маяковский читал Ахматову, Северянину, свое и Большаковское о войне и городе, и город, куда мы выходили ночью от знакомых, был городом глубокого военного тыла.

Уже мы проваливались по всегда трудным для огромной и одухотворенной России предметам транспорта и снабженья. Уже из новых слов — наряд, медикаменты, лицензия и холодильное дело — вылупливались личинки первой спекуляции. Тем временем, как она мыслила вагонами, в вагонах этих дни и ночи спешно с песнями вывозили крупные партии свежего коренного населенья в обмен на порченное, возвращавшееся санитарными поездами. И лучшие из девушек и женщин шли в сестры.

Местом истинных положений был фронт, и тыл все равно падал бы в ложное, даже если бы в придачу к этому не изощрялся в добровольной лжи. Город прятался за фразы, как пойманный вор, хотя тогда еще никто его не ловил. Как все лицемеры, Москва жила повышено внешней жизнью и была ярка неестественной яркостью зимней цветочной витрины.

Ночами она казалась вылитым голосом Маяковского. То, что в ней творилось, и то, что громоздил и громил этот голос, было как две капли воды. Но это не было то сходство, о котором мечтает натурализм, а та связь, которая сочетает воедино анод и катод, художника и жизнь, поэта и время.

От М-вой напротив был дом московского полицеймейстера. Осенью в течение нескольких дней меня там сталкивала с Маяковским и, кажется, с Большаковым одна из формальностей,

требовавшихся при записи в добровольцы. Процедуру эту мы друг от друга скрывали. Я не довел ее до конца, несмотря на отцово сочувствие. Но, если не ошибаюсь, и у товарищей тогда из нее ничего не вышло.

Меня заклил отказаться от этой мысли сын Шестова, красавец прапорщик. Он с трезвой положительностью рассказал мне о фронте, предупредив, что я встречу там одно противоположное тому, что рассчитываю найти. Вскоре за тем он погиб в первом из боев по возвращении на позиции из этого отпуска. Большаков поступил в Тверское кавалерийское училище, Маяковский позднее был призван в свой срок, я же после летнего освобождения перед самой войной освобождался при всех последующих переосвидетельствованиях.

Через год я уехал на Урал. Перед тем я на несколько дней ездил в Петербург. Война чувствовалась тут меньше, чем у нас. Тут давно обосновался Маяковский, тогда уже призванный.

Как всегда, оживленное движение столицы скрадывалось щедростью ее мечтательных, нуждами жизни не исчерпываемых просторов. Проспекты сами были цвета зимы и сумерек, и в придачу к их серебристой порывистости не требовалось много фонарей и снегу, чтобы заставить их мчаться вдаль и играть.

Мы шли с Маяковским по Литейному, он мял взмахами шагов версты улиц, и я, как всегда, поражался его способности быть чем-то бортовым и обрамляющим к любому пейзажу. Искристо-серому Петрограду он в этом отношении шел еще больше, чем Москве.

Это было время «Флейты-позвоночника» и первых набросков «Войны и мира». Тогда книжкой в оранжевой обложке вышло «Облако в штанах».

Он рассказывал про новых друзей, к которым меня вел, про знакомство с Горьким, про то, как общественная тема все шире проникает в его замыслы и позволяет ему работать по-новому, в определенных часы, размеренными порциями. И тогда я в первый раз побывал у Бриков.

Еще естественнее, чем в столицах, разместились мои мысли о нем в зимнем полуазиатском ландшафте «Капитанской дочки», на Урале и в пугачевском Прикамьи.

Вскоре после Февральской революции я вернулся в Москву. Из Петрограда приехал и остановился в Столешниковом переулке Маяковский. Утром я зашел к нему в гостиницу. Он вставал и, одеваясь, читал мне новые «Войну и мир». Я не стал распространяться о впечатлении. Он прочел его в моих глазах. Кроме того, мера его действия на меня была ему известна. Я загово-

рил о футуризме и сказал, как чудно было бы, если бы он теперь все это гласно послал к чертям. Смеясь, он почти со мной соглашался.

## 11

В предшествующем я показал, как я воспринимал Маяковского. Но любви без рубцов и жертв не бывает. Я рассказал, каким вошел Маяковский в мою жизнь. Остается сказать, что с ней при этом сделалось. Теперь я восполню этот пробел.

Вернувшись в совершенном потрясении тогда с бульвара, я не знал, что предпринять. Я сознавал себя полной бездарностью. Это было бы еще с полбеды. Но я чувствовал какую-то вину перед ним и не мог ее осмыслить. Если бы я был моложе, я бросил бы литературу. Но этому мешал мой возраст. После всех метаморфоз я не решился переопределяться в четвертый раз.

Случилось другое. Время и общность влияний роднили меня с Маяковским. У нас имелись совпадения. Я их заметил. Я понимал, что если не сделать чего-то с собою, они в будущем участвуют. От их пошлости его надо было уберечь. Не умея назвать этого, я решил отказаться от того, что к ним приводило. Я отказался от романтической манеры. Так получилась неромантическая поэтика «Поверх барьеров».

Но под романтической манерой, которую я отныне возбранял себе, крылось целое мировосприятие. Это было понимание жизни как жизни поэта. Оно перешло к нам от символистов, символическими же было усвоено от романтиков, главным образом немецких.

Это представление владело Блоком лишь в течение некоторого периода. В той форме, в которой оно ему было свойственно, оно его удовлетворить не могло. Он должен был либо усилить его, либо оставить. Он с этим представлением расстался. Усилили его Маяковский и Есенин.

В своей символике, то есть во всем, что есть образно соприкасающегося с орфизмом и христианством, в этом полагающем себя в мерила жизни и жизнью за это расплачивающемся поэте, романтическое жизнепонимание покоряюще ярко и неоспоримо. В этом смысле нечто непреходящее воплощено жизнью Маяковского и никакими эпитетами не охватываемой судьбой Есенина, самоистребительно просящейся и уходящей в сказки.

Но вне легенды романтический этот план фальшив. Поэт, положенный в его основание, немислим без непоэтов, которые бы

его оттеняли, потому что поэт этот не живое, поглощенное нравственным познанием лицо, а зрительно-биографическая эмблема, требующая фона для наглядных очертаний. В отличие от пассионалий, нуждавшихся в небе, чтобы быть услышанными, эта драма нуждается во зле посредственности, чтобы быть увиденной, как всегда нуждается в филистерстве романтизм, с утратой мещанства лишаящийся половины своего содержания.

Зрелищное понимание биографии было свойственно моему времени. Я эту концепцию разделял со всеми. Я расставался с ней в той еще ее стадии, когда она была необязательно мягка у символистов, героизма не предполагала и кровью еще не пахла. И, во-первых, я освобождался от нее бессознательно, отказываясь от романтических приемов, которым она служила основанием. Во-вторых, я и сознательно избегал ее, как блеска, мне неподходящего, потому что, ограничив себя ремеслом, я боялся всякой поэтизации, которая поставила бы меня в ложное и несоответственное положение.

Когда же явилась «Сестра моя, жизнь», в которой нашли выражение совсем не современные стороны поэзии, открывшиеся мне революционным летом, мне стало совершенно безразлично, как называется сила, давшая книгу, потому что она была безмерно больше меня и поэтических концепций, которые меня окружали.

## 12

В не убиравшуюся месяцами столовую смотрели с Сивцева Вржжа зимние сумерки, террор, крыши и деревья Приарбатъя. Хозяин квартиры, бородатый газетный работник чрезвычайной рассеянности и добродушья, производил впечатление холостяка, хотя имел семью в Оренбургской губернии. Когда выдавался досуг, он охаживал сгрел со стола и сносил на кухню газеты всех направлений за целый месяц вместе с окаменелыми остатками завтраков, которые правильными отложениями из свиной кромки и хлебных горбушек скапливались между его утренними чтеньями. Пока я не утратил совести, пламя под плитой по тридцатым числам получалось светлое, громкое и пахучее, как в святочных рассказах Диккенса о жареных гусях и конторщиках. При наступлении темноты постовые открывали вдохновенную пальбу из наганов. Они стреляли то пачками, то отдельными редкими вопрошаньями в ночь, полными жалкой безотзывной смертоносности, и так как им нельзя было попасть в такт и много гибло от шальных пуль, то в целях безопасности

по переулкам вместо милиции хотелось расставить фортепьянные метрономы.

Иногда их трескотня переходила в одичалый вопль. И как часто тогда сразу не разобрать бывало, на улице ли это или в доме. А это минутами просветленья среди сплошного беспамятства звал к себе из кабинета его единственный, переносный со штепселем жилец.

Отсюда телефонным звонком приглашали меня в особняк в Трубниковском, на сбор всех, какие могли только оказаться тогда в Москве, поэтических сил. По этому же телефону, но гораздо раньше, до корниловского мятежа, спорил я с Маяковским.

Маяковский извещал, что поставил меня на свою афишу вместе с Большаковым и Липскеровым, но также и с вернейшими из верных, в том числе и с тем, кажется, что разбивал лбом верхковые доски. Я почти радовался случаю, когда впервые как с чужим говорил со своим любимцем и, приходя во все большее раздраженье, один за другим парировал его доводы в свое оправданье. Я удивлялся не столько его бесцеремонности, сколько проявленной при этом бедности воображенья, потому что инцидент, как говорил я, заключался не в его непрошеном распоряженье моим именем, а в его досадном убежденье, что мое двухлетнее отсутствие не изменило моей судьбы и занятий. Следовало вперед поинтересоваться, жив ли я еще и не бросил ли литературы для чего-нибудь лучшего. На это он резонно возражал, что после Урала я уже с ним виделся раз весною. Но удивительнейшим образом резон этот до меня не доходил. И я с ненужной настойчивостью требовал от него газетной поправки к афише, вещи по близости вечера неисполнимой и по моей тогдашней безвестности — аффектированно бессмысленной.

Но хотя я тогда еще прятал «Сестру мою, жизнь» и скрывал, что со мной делалось, я не выносил, когда кругом принимали, будто у меня все идет по-прежнему. Кроме того, совсем глухо во мне, вероятно, жил именно тот весенний разговор, на который Маяковский так безуспешно ссылался, и меня раздражала непоследовательность этого приглашенья после всего тогда говорившегося.

Телефонную эту перепалку напомнил он мне спустя несколько месяцев в доме стихотворца-любителя А. Там были Бальмонт, Ходасевич, Балтрушайтис, Эренбург, Вера Инбер, Антокольский, Каменский, Бурлюк, Маяковский, Андрей Белый и Цве-

таева. Я не мог, разумеется, знать, в какого несравненного поэта разовьется она в будущем. Но не зная и тогдашних замечательных ее «Верст», я инстинктивно выделил ее из присутствовавших за ее бросающуюся в глаза простоту. В ней угадывалась родная мне готовность в любую минуту расстаться со всеми привычками и привилегиями, если бы что-нибудь высокое загло ее и привело в восхищенье. Мы обратили тогда друг к другу несколько открытых товарищеских слов. На вечере она была мне живым палладиумом против толпившихся в комнате людей двух движений, символистов и футуристов.

Началось чтение. Читали по старшинству, без сколько-нибудь чувствительного успеха. Когда очередь дошла до Маяковского, он поднялся и, обняв рукою край пустой полки, которою кончалась диванная спинка, принялся читать «Человека». Он барельефом, каким я всегда видел его на времени, высился среди сидевших и стоявших и, то подпирая рукой красивую голову, то упирая колено в диванный валик, читал вещь необыкновенной глубины и приподнятой вдохновенности.

Против него сидел с Маргаритой Сабашниковой Андрей Белый. Войну он провел в Швейцарии. На родину его вернула революция. Возможно, что Маяковского он видел и слышал впервые. Он слушал как замороженный, ничем не выдавая своего восторга, но тем громче говорило его лицо. Оно несло навстречу читавшему, удивляясь и благодаря. Части слушателей я не видел, в их числе Цветаевой и Эренбурга. Я наблюдал остальных. Большинство из рамок завидного самоуваженья не выходило. Все чувствовали себя именами, все — поэтами. Один Белый слушал, совершенно потеряв себя, далеко-далеко унесенный той радостью, которой ничего не жаль, потому что на высотах, где она чувствует себя как дома, ничего, кроме жертв и вечной готовности к ним, не водится.

Случай сталкивал на моих глазах два гениальных оправданья двух последовательно исчерпавших себя литературных течений. В близости Белого, которую я переживал с горделивой радостью, я присутствии Маяковского ощущал с двойной силой. Его существо открывалось мне во всей свежести первой встречи. В тот вечер я это пережил в последний раз.

После этого прошло много лет. Прошел год, и, прочтя ему первому стихи из «Сестры», я услышал от него вдесятеро больше, чем рассчитывал когда-либо от кого-нибудь услышать. Прошел еще год. Он в тесном кругу прочитал «150 000 000». И впервые мне нечего было сказать ему. Прошло много лет, в течение которых мы встречались дома и за границей, пробовали дру-

жить, пробовали совместно работать, и я все меньше и меньше его понимал. Об этом периоде расскажут другие, потому что в эти годы я столкнулся с границами моего пониманья, по-видимому — непреодолимыми. Воспоминанья об этом времени вышли бы бледными и ничего бы к сказанному не прибавили. И потому я прямо перейду к тому, что мне еще осталось досказать.

## 14

Я расскажу о той из века в век повторяющейся странности, которую можно назвать последним годом поэта.

Вдруг кончают не поддававшиеся завершенью замыслы. Часто к их недовершенности ничего не прибавляют, кроме новой и только теперь допущенной уверенности, что они завершены. И она передается потомству.

Меняют привычки, носятся с новыми планами, не нахвалятся подъемом духа. И вдруг — конец, иногда насильственный, чаще естественный, но и тогда, по нежеланью защищаться, очень похожий на самоубийство. И тогда спохватываются и сопоставляют. Носились с планами, издавали «Современник», собирались ставить крестьянский журнал. Открывали выставку двадцатилетней работы, исхлопатывали заграничный паспорт.

Но другие, как оказывается, в те же самые дни видели их угнетенными, жалующимися, плачущими. Люди целых десятилетий добровольного одиночества вдруг по-детски пугались его, как темной комнаты, и ловили руки случайных посетителей, хватаясь за их присутствие, только бы не оставаться одним. Свидетели этих состояний отказывались верить своим ушам. Люди, получившие столько подтверждений от жизни, сколько она дает не всякому, рассуждали так, точно они никогда не начинали еще жить и не имели опыта и опоры в прошлом.

Но кто поймет и поверит, что Пушкину восемьсот тридцать шестого года внезапно дано узнать себя Пушкиным любого — Пушкиным девятьсот тридцать шестого года. Что настает время, когда вдруг в одно перерожденное, расширившееся сердце сливаются отклики, давно уже шедшие от других сердец в ответ на удары главного, которое еще живо, и бьется, и думает, и хочет жить. Что множившиеся все время перебои наконец так учащаются, что вдруг выравниваются и, совпав с содроганьями главного, пускаются жить одною, отныне равноударной с ним жизнью. Что это не иносказанье. Что это переживается. Что это какой-то возраст, порывисто кровный и реальный, хотя пока

еще и не названный. Что это какая-то нечеловеческая молодость, но с такой резкой радостью надрывающая непрерывность предыдущей жизни, что за неназванностью возраста и необходимостью сравнений она своей резкостью больше всего похожа на смерть. Что она похожа на смерть. Что она похожа на смерть, но совсем не смерть, отнюдь не смерть, и только бы, только бы люди не пожелали полного сходства.

И вместе с сердцем смещаются воспоминанья и произведенья, произведенья и надежды, мир созданного и мир еще подлежащего созданию. Какова была его личная жизнь, спрашивают иногда. Сейчас вы просветитесь насчет его личной жизни. Огромная, предельного разноречья область стягивается, сосредоточивается, выравнивается и вдруг, вздрогнув одновременно по всем частям своего сложенья, начинает существовать телесно. Она открывает глаза, глубоко вздыхает и сбрасывает с себя последние остатки позы, временно данной ей в подмогу.

И если вспомнить, что все это спит ночью и бодрствует днем, ходит на двух ногах и зовется человеком, естественно ждать соответствующих явлений и в его поведении.

Большой, реальный, реально существующий город. В нем зима. В нем рано темнеет, деловой день проходит в нем при вечернем свете.

Давно, давно когда-то он был страшен. Его надлежало победить, надо было сломить его непризнание. С тех пор утекло много воды. Его признание вырвано, его покорность вошла в привычку. Требуется большое усилие памяти, чтобы вообразить, чем он мог вселять когда-то такое волнение. В нем мигают огоньки и, кашляя в платки, щелкают на счетах, его засыпает снегом.

Его тревожная громадность неслась бы мимо незамеченной, когда бы не эта новая, дикая впечатлительность. Что значит робость отрочества перед уязвимостью этого нового рожденья. И вновь, как в детстве, замечается все. Лампы, машинистки, дверные блоки и калоши, тучи, месяц и снег. Страшный мир.

Он топорщится спинками шуб и санок, он, как гривенник по полу, катится на ребре по рельсам и, закатясь вдаль, ласково валится с ребра в туман, где за ним нагибается стрелочница в тулупе. Он перекачивается, и мельчает, и кишит случайностями, в нем так легко напороться на легкий недостаток вниманья. Это неприятности намеренно воображаемые. Они сознательно раздуваются из ничего. Но и раздутые, они совершенно ничтожны в сравнении с обидами, по которым так торжественно шагало еще так недавно. Но в том-то и дело, что этого нельзя сравнивать, потому что это было в той, прежней жизни, разорвать ко-

тору было так радостно. О, если бы только эта радость была ровней и правдоподобней.

Но она невероятна и бесподобна, и, однако, так, как швыряет эта радость из крайности в крайность, ничто ни во что никогда еще в жизни не швыряло.

Как тут падают духом. Как опять повторяется весь Андерсен с его несчастным утенком. Каких только слонов не делают тут из мух.

Но, может быть, врет внутренний голос? Может быть, прав страшный мир?

«Просят не курить». «Просят дела излагать кратко». Разве это не истины?

«Этот? Повесится? Будьте покойны». — «Любить? Этот? Ха-ха-ха! Он любит только себя».

Большой, реальный, реально существующий город. В нем зима, в нем мороз. Визгливый, ивового плетенья двадцатиградусный воздух как на вбитых сваях стоит поперек дороги. Все туманится, все закатывается и запропащается в нем. Но разве бывает так грустно, когда так радостно? Так это не второе рождение? Так это смерть?

## 15

В отделах записей актов гражданского состоянья приборов для измеренья правдивости не ставят, искренности рентгеном не просвечивают. Для того чтобы запись имела силу, ничего, кроме крепости чужой регистрирующей руки, не требуется. И тогда ни в чем не сомневаются, ничего не обсуждают.

Он напишет предсмертную записку собственной рукой, завещательно представив свою драгоценность миру как очевидность, он свою искренность измерит и просветит быстрым, не поддающимся никакой переделке исполнением, и кругом пойдут обсуждать, сомневаться и сопоставлять.

Они сравнивают ее с предшественницами, а она сравнима только с ним одним и со всем его предшествующим. Они строят предположенья о его чувстве и не знают, что можно любить не только в днях, хотя бы и навеки, а хотя бы и не навеки, всем полным собраньем прошедших дней.

Но одинаковой пошлостью стали давно слова: гений и красавица. А сколько в них общего.

Она с детства стеснена в движениях. Она хороша собой и рано это узнает. Единственный, с кем можно быть вполне собой, —

это так называемый Божий мир, потому что с другими нельзя сделать шагу, чтобы не огорчить или не огорчиться.

Она подростком выходит за ворота. Какие у ней умыслы? Она уже получает письма до востребованья. Она держит в курсе своих тайн двух-трех подруг. Все это у нее уже есть, и допустим: она выходит на свиданье.

Она выходит за ворота. Ей хочется, чтобы ее заметил вечер, чтобы у воздуха сжалось сердце за нее, чтобы звездам было что про нее подхватить. Ей хочется известности, которой пользуются деревья и заборы и все вещи на земле, когда они не в голове, а на воздухе. Но она расхохоталась бы в ответ, если бы ей приписали такие желанья. Ни о чем таком она не думает. На то есть в мире у нее далекий брат, человек огромного обыкновенья, чтобы знать ее лучше ее самой и быть за нее в последнем ответе. Она здраво любит здоровую природу и не сознает, что расчет на взаимность вселенной никогда ее не покидает.

Весна, весенний вечер, старушки на лавочках, низкие заборы, волосатые ветлы. Винно-зеленое, слабого настоя, некрепкое, бледное небо, пыль, родина, сухие, щенящиеся голоса. Сухие, как щепки, звуки и, вся в их занозах, — гладкая, горячая тишина.

Навстречу — человек по дороге, тот самый, которого естественно было встретить. На радостях она твердит, что вышла к нему одному. Отчасти она права. Кто несколько не пыль, не родина, не тихий весенний вечер? Она забывает, зачем вышла, но про то помнят ее ноги. Он и она идут дальше. Они идут вдвоем, и чем дальше, тем больше народу попадаетеся им навстречу. И так как она всей душой любит спутника, то ноги немало огорчают ее. Но они несут ее дальше, он и она едва поспевают друг за другом, но неожиданно дорога выводит на некоторую широту, где будто бы малолюднее и можно бы передохнуть и оглянуться, но часто в это же самое время сюда выходит своей дорогой ее далекий брат, и они встречаются, и что бы тут ни произошло, все равно, все равно какое-то совершеннейшее «я — это ты» связывает их всеми мыслимыми на свете связями и гордо, молодо и утомленно набивает медалью профиль на профиль.

Начало апреля застало Москву в белом остолбенении вернувшейся зимы. Седьмого стало вторично таять, и четырнадцатого, когда застрелился Маяковский, к новизне весеннего положения еще не все привыкли.

Узнав о несчастье, я вызвал на место происшествия Ольгу Силлову. Что-то подсказало мне, что это потрясение даст выход ее собственному горю.

Между одиннадцатью и двенадцатью все еще разбегались волнистые круги, порожденные выстрелом. Весть качала телефоны, покрывая лица бледностью и устремляя к Лубянскому проезду, двором в дом, где уже по всей лестнице мостились, плакали и жались люди из города и жильцы дома, ринутые и разбрызганные по стенам плющильною силой события. Ко мне подошли Я. Черняк и Ромадин, первыми известившие меня о несчастье. С ними была Женя. При виде ее у меня конвульсивно заходили щеки. Она, плача, сказала мне, чтобы я бежал наверх, но в это время сверху на носилках протащили тело, чем-то накрытое с головой. Все бросились вниз и спрудились у выхода, так что когда мы выбрались вон, карета скорой помощи уже выезжала за ворота. Мы потянулись за ней в Гендриков переулок.

За воротами своим чередом шла жизнь, безучастная, как ее напрасно называют. Участье асфальтового двора, вечного участника таких драм, осталось позади.

По резиновой грязи бродил вешний слабоногий воздух и точно учился ходить. Петухи и дети заявляли о себе во всеуслышанье. Ранней весной их голоса странно доходят, несмотря на городскую деловую трескотню.

Трамвай медленно взбирался на Швивую горку. Там есть место, где сперва правый, а потом левый тротуар так близко подбираются под окна вагона, что, хватаясь за ремень, невольным движеньем нагибаешься над Москвой, как к поскользнувшейся старухе, потому что она вдруг опускается на четвереньки, скучно обирает с себя часовщиков и сапожников, подымает и представляет какие-то крыши и колокольни и вдруг, встав и отряхнув подол, гонит трамвай по ровной и ничем не замечательной улице.

На этот раз ее движенья были столь явным отрывком из застывшего, то есть так сильно напоминали что-то важное из его существа, что я весь задрожал и знаменитый телефонный вызов из «Облака» сам собой прогрохотал во мне, словно громко произнесенный кем-то рядом. Я стоял в проходе возле Силловой и наклонился к ней, чтобы напомнить восьмистишие, но

И чувствую, «я» для меня мало... —

складывали губы, как пальцы в варежках, проговорить же вслух я от волнения не мог ни слова.

В конце Гендрикова у ворот стояли две пустые машины. Их окружала кучка любопытных.

В передней и столовой стояли и сидели в шапках и без шапок. Он лежал дальше, в своем кабинете. Дверь из передней в Лилину комнату была открыта, и у порога, прижав голову к притолоке, плакал Асеев. В глубине у окна, втянув голову в плечи, трясся мелкой дрожью беззвучно рыдавший Кирсанов.

Сырой туман оплакиванья прерывался и тут озабоченными разговорами вполголоса, как по окончании панихид, когда после густой, как варенье, службы первые слова, сказанные шепотом, так сухи, что кажутся произнесенными из-под полу и пахнут мышами. В один из таких перерывов в комнату осторожно прошел дворник со стамеской за сапожным голенищем и, вынув зимнюю раму, медленно и бесшумно открыл окно. На дворе разведшись было еще вдрызг дрожко, и воробьи и ребятишки взбдраивали себя беспричинным криком.

Выйдя на цыпочках от покойника, кто-то тихо спросил, послана ли телеграмма Лиле. Л. А. Г. ответил, что послали. Женя отвела меня в сторону, обратив вниманье на мужество, с каким Л. А. нес страшную тяжесть струсившегося. Она заплакала. Я крепко сжал ее руку.

В окно лилось кажущееся безучастье безмерного мира. Вдоль по небу, точно между землей и морем, стояли серые деревья и стерегли границу. Глядя на сучья в горячающихся почках, я постарался представить себе далеко-далеко за ними тот маловероятный Лондон, куда отошла телеграмма. Там вскоре должны были вскрикнуть, простереть сюда руки и упасть без памяти. Мне перехватило горло. Я решил опять перейти в его комнату, чтобы на этот раз вырветесь в полную досталь.

Он лежал на боку, лицом к стене, хмурый, рослый, под простыней до подбородка, с полуоткрытым, как у спящего, ртом. Горделиво ото всех отвернувшись, он даже лежа, даже и в этом сне упорно куда-то порывался и куда-то уходил. Лицо возвращало к временам, когда он сам назвал себя красивым, двадцатидвухлетним, потому что смерть закостенила мимику, почти никогда не попадающуюся ей в лапы. Это было выражение, с которых начинают жизнь, а не которых ее кончают. Он дулся и негодовал.

Но вот в сенях произошло движенье. Особняком от матери и старшей сестры, уже неслышно горевавших среди собравшихся, на квартиру явилась младшая сестра покойного Ольга Владимировна. Она явилась требовательно и шумно. Перед ней в помещенье вплыл ее голос. Подымаясь одна по лестнице, она с кем-то

громко разговаривала, явно адресуясь к брату. Затем показала она сама и, пройдя, как по мусору, мимо всех до братниной двери, всплеснула руками и остановилась. «Володя!» — крикнула она на весь дом. Прошло мгновение. «Молчит! — закричала она того пуще. — Молчит. Не отвечает. Володя. Володя!! Какой ужас!»

Она стала падать. Ее подхватили и бросились приводить в чувство. Едва придя в себя, она жадно двинулась к телу и, сев в ногах, торопливо возобновила свой неутоленный диалог. Я разреvelся, как мне давно хотелось.

Так не могло плакаться на месте происшествия, где огнестрельную свежесть факта быстро вытеснил стадный дух драмы. Там асфальтовый двор, как селитрой, вонял обожествлением неизбежности, то есть тем фальшивым городским фатализмом, который зиждется на обезьяньей подражательности и представляет жизнь цепью послушно отпечатляемых сенсаций. Там тоже рыдали, но оттого, что потрясенная глотка с животным медиумизмом воспроизводила судорогу жилых корпусов, пожарных лестниц, револьверной коробки и всего того, от чего тошнит отчаяньем и рвет убийством.

Сестра первую плакала по нем своей волей и выбором, как плачут по великом, и под ее слова плакалось ненасытимо широко, как под рев органа.

Она же не унималась. «Баню им! — негодовал собственный голос Маяковского, странно приспособленный для сестрина контраalto. — Чтобы посмешнее. Хохотали. Вызывали. — А с ним вот что делалось. — Что же ты к *нам* не пришел, Володя?» — навзрыд протянула она, но, тотчас овладев собой, порывисто пересела к нему ближе. «Помнишь, помнишь, Володичка?» — почти как живому вдруг напонила она и стала декламировать:

И чувствую, «я» для меня малó,  
 Кто-то из меня вырывается упрямо.  
 Алло!  
 Кто говорит?! Мама?  
 Мама! Ваш сын прекрасно болен.  
 Мама! У него пожар сердца.  
 Скажите сестрам, Люде и Оле,  
 Ему уже некуда деться.

Когда я пришел туда вечером, он лежал уже в гробу. Лица, наполнявшие комнату днем, успели смениться другими. Было довольно тихо. Уже почти не плакали.

Вдруг внизу, под окном, мне вообразилась его жизнь, теперь уже начисто прошлая. Она пошла вбок от окна в виде какой-то тихой, обсаженной деревьями улицы, вроде Поварской. И первым на ней у самой стены стало наше государство, наше ломящееся в века и навсегда принятое в них, небывалое, невозможное государство. Оно стояло внизу, его можно было кликнуть и взять за руку. В своей осязательной необычайности оно чем-то напоминало покойного. Связь между обоими была так разительна, что они могли показаться близнецами.

И тогда я с той же необязательностью подумал, что этот человек был, собственно, этому гражданству единственным гражданином. Остальные боролись, жертвовали жизнью и созидали или же терпели и недоумевали, но все равно были туземцами истекшей эпохи и, несмотря на разницу, родными по ней земляками. И только у этого новизна времен была климатически в крови. Весь он был странен странностями эпохи, наполовину еще неосуществленными. Я стал вспоминать черты его характера, его независимость, во многом совершенно особенную. Все они объяснялись навыком к состояниям, хотя и подразумевающимся нашим временем, но еще не вошедшим в свою злободневную силу. Он с детства был избалован будущим, которое далось ему довольно рано и, видимо, без большого труда.

1930

